

В пятидесятых годах появлялся у Ив. Ив. изредка *Фет*. Я ничего не могу сказать о нем, разве только то, что он был тучный человек. А как он попал в звание замечательного поэта, это загадка, которую пускай разгадывает критика. Общий жанр его творений очень ловко пародировал Ив. Ив. в своих «Записках нового поэта».

Впоследствии появились у Ив. Ив. *Дружинин* и *Дудышкин*. Это были тоже люди умные, образованные и весьма приятные*.

В.А. Панаев

САЛОН В.А. СОЛЛОГУБА**

Граф Михаил Юрьевич Виельгорский был один из первых и самых любимых русских меценатов; все этому в нем способствовало: большое состояние, огромные связи, высокое, так сказать, совершенно выходящее из ряда общего положение, которое он занимал при дворе, тонкое понимание искусства, наконец, его блестящее и вместе с тем очень серьезное образование и самый добрый и простой нрав. Совершенным противоречием ему являлась его жена, рожденная герцогиня Луиза Бирон. Это была женщина гордости недоступной, странно как-то сочетавшейся с самым искренним христианским уничижением... У графа Михаила Юрьевича раза два-три в неделю собирались не только известные писатели, музыканты и живописцы, но также и актеры, и начинающие карьеру газетчики (что в те времена было нелегкой задачей), и даже просто всякого рода неизвестные людишки, которыми Виельгор-

* См. еще Воспоминания П.П. Соколова в «Историческом Вестнике», 1910, август, с. 410—411.

** Воспоминания графа В.А. Соллогуба. — СПб., 1887.

ский, как истый барин, никогда не брезгал. Все эти господа приходили на собственный Виельгорского подъезд (на Михайловской площади, дом, ныне принадлежащий кондитеру Кочкурову), и графиня Виельгорская не только не знала о их присутствии в ее доме, но даже не ведала о существовании многих из них. Часто Виельгорский на короткое время покидал своих гостей, уезжал во дворец или на какой-нибудь прием одного из посланников или министров, но скоро возвращался, снимал свой мундир, звезды, с особенным удовольствием облекался в бархатный, довольно потерявший сюртук и принимался играть на биллиарде с каким-нибудь затрапезным Самсоновым. Но этот образ жизни — или, скорее, резкость приемов — родителей моей жены несколько изменился со дня нашей свадьбы. Мы жили у них же в доме, на особенной, для нас ими отделанной квартире. Мы с женой завтракали и обедали у Виельгорских; в остальное же время сохраняли совершенную независимость в нашем образе жизни, много принимали у себя, и эти два элемента — светский и артистический — у нас соединялись в одно целое, в то время редкое и особенно привлекательное.

У меня по вечерам собирались самые разнородные гости; в комнате, находившейся за моим кабинетом и прозванной мной «зверинцем», так как в ней помещались люди, не решавшиеся не только сидеть в гостиной, но даже входить в мой кабинет, куда, однако, дамы редко заглядывали, — в этой комнате часто можно было видеть сидящих рядом на низеньком диванчике председателя Государственного совета графа Блудова и г. Сахарова, одного из умнейших и ученейших в России людей, но постоянно летом и зимой облеченного в длиннополый сюртук горохового цвета с небрежно повязанным на шее галстуком, что для модных гостиных являлось не совсем удобным.

Федор Иванович Тютчев был одним из усерднейших посетителей моих вечеров; он сидел в гостиной на диване, окруженный очарованными слушателями и слушательницами. Много мне случалось на моем веку разговаривать и слушать знаменитых рассказчиков, но ни один из них не производил на меня такого чарующего впечатления, как Тютчев. Остроумные, нежные, колкие, добрые слова, точно жемчужины, небрежно скатывались с его уст. Он был едва ли не самым светским человеком в России, но светским в полном значении этого слова. Ему были нужны, как воздух, каждый вечер яркий свет люстр и ламп, веселое шуршанье дорогих женских платьев, говор и смех хорошенъких женщин. Между тем его наружность очень не соответствовала его вкусам: он собою был дурен, небрежно одет, неуклюж и рассеян; но все, все это исчезало, когда он начинал говорить, рассказывать, все мгновенно умолкали, и во всей комнате только и слышался голос Тютчева; я думаю, что главною прелестью Тютчева в этом случае было то, что рассказы его и замечания «coulaient de source», как говорят французы: в них не было ничего приготовленного, выученного, придуманного. Соперник его по салонным успехам, князь Вяземский, хотя обладал редкой привлекательностью, но никогда не славился этой простотой обаятельности, которой отличался ум Тютчева. У меня в то время собирались все тузы русской литературы. Я уже называл *Тютчева, Вяземского и Гоголя*; кроме них, часто посещал меня добрейший и всеми любимый князь *Одоевский, Некрасов, Панаев*, которого повести были в большой моде в то время, *Бенедиктов, Писемский*. Изредка в «зверинце» появлялась высокая фигура молодого *Тургенева*; сухопарый и юркий *Григорович* был у нас в доме как свой, также и *Болеслав Маркевич*. Один, всего один раз мне удалось затащить к себе *Достоевского*. Вот как я с ним познакомился.

В 1845 или 1846 году я прочел в одном из тогдашних из-

даний повесть, озаглавленную «Бедные люди». Такой оригинальный талант сказывался в ней, такая простота и сила, что повесть эта привела меня в восторг. Прочитавши ее, я тотчас же отправился к издателю журнала, кажется, Андрею Александровичу Краевскому, осведомиться об авторе; он назвал мне Достоевского и дал мне его адрес. Я сейчас же к нему поехал и нашел в маленькой квартире на одной из отдаленных петербургских улиц, кажется на Песках, молодого человека, бледного и болезненного на вид. На нем был одет довольно поношенный домашний сюртук с необыкновенно короткими, точно не на него сшитыми рукавами. Когда я себя назвал и выразил ему в восторженных словах то глубокое и вместе с тем удивленное впечатление, которое на меня произвела его повесть, так мало походившая на все, что в то время писалось, он сконфузился, смешался и подал мне единственное находившееся в комнате старенькое, старомодное кресло. Я сел, и мы разговорились; правду сказать, говорил больше я — этим я всегда грешил. Достоевский скромно отвечал на мои вопросы, скромно и даже уклончиво. Я тотчас увидел, что это натура застенчивая, сдержанная и самолюбивая, но в высшей степени талантливая и симпатичная. Просидев у него минут двадцать, я поднялся и пригласил его поехать ко мне запросто пообедать.

Достоевский просто испугался.

— Нет, граф, простите меня, — промолвил он растерянно, потирая одну об другую свои руки, — но, право, я в большом свете отроду не бывал и не могу никак решиться...

— Да кто вам говорит о большом свете, любезнейший Федор Михайлович, — мы, с женой действительно принадлежим к большому свету, ездим туда, но к себе его не пускаем!

Достоевский рассмеялся, но остался непреклонным и только месяца два спустя решился однажды появиться в

моем «зверинце». Но скоро наступил 1848 год, он оказался замешанным в деле Петрашевского и был сослан в Сибирь, в каторжные работы. Остальное читатели уже знают.

Я уже сказал, что, кроме моих собратьев и других артистов, у меня бывало на вечерах множество людей сановных, придворных и светских; их привлекало, во-первых, то, что они могли вблизи посмотреть на это в те времена диковинное явление — «русских литераторов», им по их воспитанию на иностранный лад совершенно чуждое, но в особенности потому, что я устроил эти вечера единственно ввиду того, чтобы собирать у себя именно этих писателей, живописцев, музыкантов, издателей тогдашних газет и журналов и вообще людей, близко связанных и с родным и с иностранным искусством, и потому нисколько не желал, чтобы люди чисто светские бывали на этих вечерах. Этого, разумеется, было достаточно, чтобы «весь Петербург» стремился ко мне. Теперь мне часто становится смешно, когда я вспоминаю все ухищрения, употребляемые в то время некоторыми дипломатами, убеленными сединами сановниками, словом, цветом тогдашнего петербургского общества, чтобы попасть ко мне. О женщинах нечего и говорить: с утра до вечера я получал раздушенные записки почти всегда следующего содержания: «Милейший граф, я так много наслышалась о ваших прелестных вечерах, что чрезвычайно интересуюсь и желаю побывать на одном из них! Прошу, умоляю вас, если это нужно, назначить мне день, в который я могу приехать к вам и увидеть вблизи всех этих знаменитых и любопытных для меня людей. Надеюсь и т. д.». Но женщинам самым милым и высокопоставленным мне приходилось наотрез отказывать, так как их появление привело бы в бегство не только мой милый «зверинец», но и многих посетителей кабинета. Только четыре женщины, разумеется, исключая род-

ных и Карамзиних, допускались на мои скромные сборошица, а именно: графиня Ростопчина, известная писательница, графиня Александра Кирилловна Воронцова-Дашкова, графиня Мусина-Пушкина и Аврора Карловна Демидова. Надо сказать, что все они держались так просто и мило, что нисколько не смущали моих гостей. Между нами было условлено, что туалеты на них будут самые скромные; они этому, хотя нехотя, подчинились, и раз только Аврора Карловна Демидова, которой, едучи на какой-то бал, вздумалось завернуть к нам по дороге, вошла в гостиную в бальном платье. Правда, платье было темное, бархатное, одноцветное, но на обнаженной шее сиял баснословный демидовский бриллиант, стоявший, кажется, более миллиона рублей ассигнациями.

— Аврора Карловна, что вы это надели, помилуйте! Да они все разбегутся при виде вас! — идя ей навстречу, смеясь, закричал я, указывая на ее бриллиант.

— Ах, это правда! — с таким же смехом ответила мне Демидова и, поспешно отстегнув с шеи свое ожерелье, положила его в карман.

Ровно в полночь у меня в столовой подавался ужин, состоявший из одного кушанья, какого-нибудь гоме-рических размеров ростбифа или двух-трех зажаренных индеек; но запивалось простым красным столовым вином. Гости мои, наговорившись досыта, кушали с большим аппетитом. После ужина все разъезжались до следующего вечера*.

B.A. Соллогуб

* См. еще Воспоминания П.П. Соколова в «Историческом Вестнике», 1910, август, с. 412—413.